



С. Баруздин

РЕЧКА ВОРЯ

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

 **СОВЕТСКИЙ ВОИН**

Сергей БАРУЗДИН
РЕЧКА ВОРЯ

Повесть

Главное политическое управление Советской Армии
и Военно-Морского Флота



Имя Сергея Баруздина известно по многим стихотворным и прозаическим книгам для детей и юношества. Он — автор более семидесяти книг, которые переведены на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

В последнее время писатель все чаще обращается к взрослым читателям. И к теме минувшей войны, которую он сам прошел артиллерийским разведчиком. Большой интерес вызвал его роман о войне «Повторение пройденного».

Новая книга писателя — о женщинах — участницах Великой Отечественной войны. В нее входят повести: «Ее зовут Елкой», «Речка Воря», «Тася», «Верить и помнить». Одну из них, с небольшими сокращениями, мы и предлагаем вниманию читателей.



РЕЧКА ВОРЯ

1

-- Фронтовая любовь? Лучше не говорите об этом! Это же несерьезно!

Из случайно услышанного разговора.

Юхнов — город, центр Юхновского района, Калужской области. Расположен на шоссе Москва — Брест, в 35 километрах от железнодорожной станции Мятлевская, на реке Угра, левом притоке Оки. Длина реки около четырехсот километров. Протекает Угра в пределах Смоленской и Калужской областей. Начало берет на юго-восточном склоне Смоленско-Московской гряды. Берега крутые, местами обрывистые. Главные притоки Воря, Шаня, Ресса...

Из справочников.

Небо не голубое и не серое, чистое и не совсем чистое, а с какой-то грязинкой.

Такое иногда бывало в детстве, когда, рисуя акварельными красками, лень было сменить лишний раз воду, и кисточка явно мазала — голубого цвета не получалось.

Такое сейчас было небо. И еще с какими-то белесыми разводами и полосами, заметными и еле заметными, каких она сроду не видела в Москве. До войны она видела московское небо или совсем ярким, или совсем хмурым — в зимы и дожди, а потом, когда шла война, — охваченным лучами прожекторов, стонущим, дребезжащим, грохочущим или беспокойно спокойным в промежутках между воздушными тревогами. И все же прежде ей было не до этого неба, и, наверно, она его толком не видела — ни тогда раньше, до войны, ни потом, в войну.

И вообще, что она видела, что понимала раньше? Ей только казалось, что она была взрослой, а на самом деле разве это так? И в людях она разбиралась плохо. Сегодня ей человек мог показаться хорошим, завтра плохим. Сегодня она кого-то жалела, завтра тот же, которого она жалела, ее раздражал. Сейчас она понимала: девчонка! Глупая, наивная девчонка! Никогда не была она взрослой и умной! И даже не знает, как это быть такой...

Да, теперь она это отлично понимала. Теперь... А что думает он?

Он спросил:

— Ты что все смотришь на небо? Налета не будет.

Она и не думала о налете. Думала совсем о другом.

— Ты сердишься на меня? — спросила она.

— Зачем ты, Варюша? — снисходительно, как ей показалось, произнес он. — И давай не будем больше об этом!.. А речку Вору я тебе обязательно покажу. Удивительная речка! Сейчас, правда, зима. А летом! Я до войны на ней бывал, мальчишкой. Даже частушку помню, женщины в деревне пели:

Люди едут к синю морю,
Тратят деньги на билет.
А у нас есть речка Воря,
Лучше в мире речки нет!

Он посмотрел на нее нежно, с доверием.

— Зря ты меня не послушала... Две специальности имеешь — и нá вот! Говорил! Вот тебе и попала сразу в заваруху!

Зря или не зря она не согласилась остаться в штабе полка? Сейчас она знает: не зря! Потому, что он напомнил ей об этом и он — рядом!

— Не зря, — сказала она ему. — Я никогда ни о чем не жалею, если уж сделала...

— А все-таки автомат — вещь! — сказал он через минуту. — Если б ты знала, как было в сорок первом. Винтовочки — дрянь, карабинчики — рухлядь. А это — штука!

Она обрадовалась. Поняла: «Он тоже доволен, что она не осталась в штабе полка. Хотя и корит ее, доволен». От мысли, что он, старший, бережет ее, стало хорошо. Она вспомнила его слова — о сорок первом. Значит, он говорит с ней, как с равной.

Как было в сорок первом, она не знала. Поначалу, двадцать второго июня, как все, растерялась, но потом успокоилась. И только, когда ушел на фронт отец и настала трудная осень, в канун зимы, она поняла, что

это надолго. Поняла потому, что никакого другого исхода войны, кроме победы, не представляла себе. Но для победы надо было гнать немцев назад, а на это нужно время.

На улицах Москвы она видела сильных, веселых, хорошо одетых и вооруженных красноармейцев и командиров. Видела танки и пушки на параде седьмого ноября, видела сибирские и уральские полки, отправляющиеся на фронт. Конечно, Москва была в опасности, но это, как ей казалось, — слишком нереальная, далекая опасность, ибо странно и глупо было себе представить, что немцы могут войти в Москву.

А сейчас он говорит: «Винтовочки — дрянь, карабинчики — рухлядь». Может, и так.

— Ты пригнись, Варюша, — посоветовал он.

Она послушно пригнулась.

На противоположной стороне оврага все было спокойно. Вроде бы и немцев там не существовало. Клены, ели, дубы, березы упирались в то же самое белесое, с грязинкой небо, и где-то, невидимое, светило уже не совсем зимнее солнце, и чирикали непонятной масти пернатые, и изредка с шумом падал с еловых лап и с крутых берегов оврага подтаявший снег. Странно, что там немцы! Немцы?!

Неизвестно, как и почему она вспомнила небольшой рабочий поселок, который проехала по пути сюда. Говорили, что поселок освободили давно, совсем давно, четыре, нет, пять дней назад, но там еще висели на стенах домов немецкие надписи. Две из них врезались почему-то в память, одна — короткая и другая — длинная:

«Вода здесь отпускается только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреля-

ны. Вода для русских на другой стороне — в канаве. Комендант».

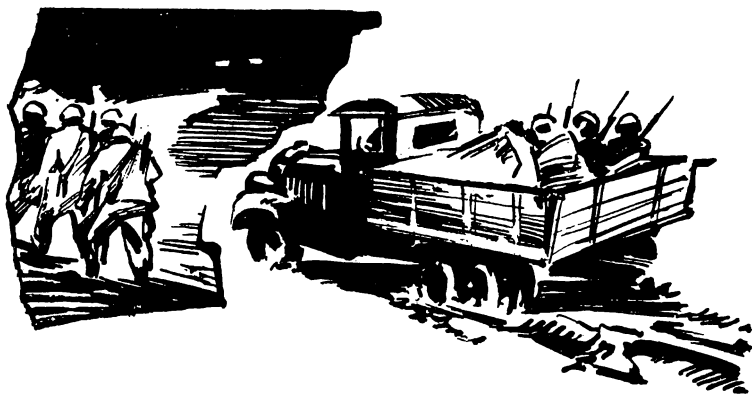
«Приказ. Передвижение по дорогам, как шоссе-ным, так и проселочным, людям мужеского и женского пола в возрасте от 10 до 50 лет воспрещается. Лица, застигнутые при передвижении по дорогам, будут задерживаться и отправляться в лагерь. Лица, у которых при этом будет обнаружено любое оружие, в том числе, ножи, будут расстреляны как партизаны. Лица, способствующие в какой-бы то ни было форме партизанам, снабжающие их припасами, укрывающие их или дающие им убежище, сами будут считаться партизанами и расстреливаться на месте. Все лица, получившие сведения о злоумышленных намерениях против германской армии и военных властей или против расположений таковых и их имущества, о замышлении саботажных актов или подготовке таковых, о появлении отдельных партизан или банд таковых, о парашютистах и не сообщившие об этом ближайшей немецкой воинской части, подлежат смертной казни».

Раньше, в школе, она никогда ничего толком не запоминала. Мучилась, зубрила часами, стараясь лучше подготовить урок, но написанное в учебнике никак не укладывалось в памяти, а своими словами пересказать все было просто невысказимо.

А это запомнилось. Все, до мельчайших подробностей. Поразила аккуратность и точность.

Там же, в том маленьком поселке, полдня бродила она по улицам, долго стояла у сохранившихся немецких объявлений. Может, потому и запомнила их. А еще врезалась в память надпись на втором из них — о партизанах: «Нашли дураков!» Это уже сделал кто-то из наших.

Зима стояла суровая, как сама война. Морозы



лютовали с памятного для Москвы октября и по эти, уже мартовские, дни. Морозы перемежались потеплением и страшными снегопадами.

Они ехали из Москвы на полуторке, и всюду был снег, снег, снег. Такой, что и не ступишь с шоссе — провалишься. Такой, что и на дорогах, по которым нескончаемо шли и шли машины, танки, телеги, артиллерия, пехота, не утрамбовывался, а рыхлый, разбитый шинами, гусеницами, валенками и сапогами, тормозил движение.

Ей хотелось сейчас смотреть не вперед, а в небо. Очень здорово, когда смотришь с земли в это белесое небо. Ели, и сосны, и березы, и даже кустарники кажутся огромными под этим небом. И маячат на его фоне темно-темно, черно-черно. Не отличишь, где белая береза, где зеленая ель. Спит глаза солнце, невидимое сейчас. Вот ворона с карканьем перелетела с дерева на дерево. Толстобрюхий снегирь еле-еле под-

нялся на ветку вербы. Синицы, сразу три, взмахнули зеленовато-желтыми крылышками и умчались в сторону. Смотреть бы сейчас и смотреть! И почему до войны все это не так виделось?

— Умоляю, побереги лучше себя, — сказал Слава. — Кажется, фрицы зашевелились...

Его внимательность поражала и обескураживала ее. С ней никогда, кажется, никто не был таким внимательным. Из старших, конечно. И никто ее не любил или, вернее, не влюблялся в нее из старших. Неужели его внимательность — это и есть любовь? Страшно подумать об этом! Страшно, чтобы не обмануться...

А ей хотелось, сейчас очень хотелось бы, чтобы любовь...

— Тебе говорят, фрицы! — зло пробасил Слава.

Варя невольно вздрогнула:

— Сейчас...

Она не обиделась на его резкость.

Поправила шапку-ушанку и положила на бруствер окопа автомат:

— Я вижу...

Минут двадцать шла перестрелка. Слава стрелял деловито, спокойно, будто занимался важным делом. И она стреляла. И ей было приятно видеть его таким: умным, сосредоточенным, старшим. Ей всегда казалось, что мужчины умней и серьезнее женщин, что они не способны на такие глупые мысли и разговоры, которых она наслушалась, когда работала с девчонками.

Немцы приутихли. Слава поправил шапку, улыбнулся ей и опять закурил:

— Ну как?

— Хорошо, — почему-то ответила она.

— Слушай, а какое сегодня число? — вдруг спросил он. — Темнеет уже...

— Третье марта, сорок второго года, а что?—Она обрадовалась. Значит, не сердится.

— Сорок второго! Ясно, не сорок первого! — сказал он. — Забавно! Третье марта... А у меня, Варюша, день рождения...

Она не знала, что делать. В окоп свесилась ветка сосенки, совсем молодой, чахлой.

Она отломила ее:

— Н^а, тебе!

— Умница ты, спасибо! — сказал он, положил ветку на край окопа под ствол автомата.

Потом стреляли по немцам и слева, и справа от них. Стреляли и Слава с Варей. Ей казалось, что стреляли наугад, хотя сама она целилась, очень старательно целилась, как на курсах Осоавиахима.

И все же было чуть боязно. Наших в этом окопе было совсем немного. Справа от нее, она знала, четверо. Слева от Славы — трое. Так уж случилось, что они оказались здесь в меньшинстве, а сколько было перед ними немцев—неизвестно. Ведь никакой передовой здесь и не предполагалось; передовая проходила где-то по крайней мере в пяти-семи километрах отсюда, а потому и частей наших тут не было.

Но размышлять об этом долго она не могла. И вообще думать — это не в ее характере. Надо просто вести себя, как Слава. Есть окопчик, довольно примитивный окопчик у края оврага, и их девять. А на том краю страшно заметные на снегу немцы. Слава знает что делать. И она должна знать. И она будет вести себя так же, как он. Во всем. И сейчас особенно.

«И чего они лезут, — подумала Варя, — когда у нас со Славой все так сложно и нехорошо получилось!» Но тут же отогнала от себя эту мысль: «Наверно, все это опять несерьезно и по-детски... Сейчас,

на войне, нельзя так!..» Вспомнился отец, которого она не видела мертвым, а лишь знала, что он погиб от немцев. Вспомнилась Москва. Москва осени сорок первого. Все вспомнилось и все забылось: немцы впереди стреляли.

И она тоже стреляла в них, теперь, кажется, более точно, чем несколько минут назад.

А небо над ними было прежним — не голубым и не серым, чистым и не совсем чистым, а с какой-то грязинкой. Как на далеких школьных акварельных рисунках. И небо было так же далеко, как это далекое детство. А немцы были близко: двести, а может, и сто метров от их окопа, от Славы, от нее.

«Что-то все-таки не так у нас со Славой получилось», — снова промелькнуло у нее в голове. Но только промелькнуло. Даже задержаться не могло — немцы шли в атаку.

3

Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Улицы ее детства. Вернее, это была одна улица от Ильинских ворот до Земляного вала, тесная, шумная, забитая трамваями, людьми, машинами и магазинами. Маросейка продолжалась Покровкой, а Покровка — Маросейкой, и никаких особых достопримечательностей на этих улицах и в примыкающих к ним переулках не было. Здание ЦК комсомола, недостижимое для нее даже и тогда, когда вступала в комсомол. Тесный кинотеатр «Аврора» у Покровских ворот, наоборот, почти свой, домашний, где она знала каждый ряд, каждое место и каждую складку на не очень ровном маленьком экране; на нем она видела почти все фильмы тех лет. Еще дом с не очень понятной вывеской издательства «Дер Эмес», парикмахерская рядом

с ее Девяткиным, где она делала первую прическу — настоящую, взрослую.

По Старосадскому, мимо немецкой кирхи, а иногда и по Большому Спасоглинищевскому, мимо синагоги, она бегала вниз на Солянку и дальше — на площадь Ногина в клуб Наркомтяжпрома.

Там был пионерский ансамбль песни и пляски. Ансамбль — одно слово. Ни одного настоящего инструмента у них не было, кроме примитивных поющих трубочек, важно называвшихся непонятным словом — мерлитон, барабанов и медных тарелок. Но они пели, играли, танцевали — и все получалось здорово.

Тогда к ним в клуб запросто приходил сам Серго Орджоникидзе. Смотрел, как они отплясывают «Лявониху», и спрашивал:

— А «Лезгинку» не можете? Надо, надо «Лезгинку» разучить.

Потом он был на их концерте в Доме инженера и техника на улице Кирова. И не один: привел с собой Михаила Ивановича Калинина.

После концерта они пришли на сцену, и всех их вместе фотографировали. Снимки были напечатаны в большой газете «За индустриализацию» и в маленькой наркоматовской — «Штаб индустрии». Она сидела рядом с Орджоникидзе и почти рядом с Калининым, и Орджоникидзе спросил ее:

— Отец твой в Наркомтяже работает? Как зовут-то тебя?

Она назвала фамилию.

— Ну, Савелия Викторовича знаю! Еще по тракторному в Сталинграде, а сейчас мы — сослуживцы. Увижу завтра, передам, что дочь у него молодцом! Лихо плясала! Правда, Михаил Иванович?

И ей было совсем не страшно тогда, а наоборот,

как-то очень легко. И когда отец на следующий день, а вернее, почти в ночь, когда она уже спала, вернулся с работы и разбудил ее, все было естественно и просто:

— Слушай, а тебя сегодня мне сам Серго хвалил! И газеты напечатали!

Она выхватила у отца газеты и обрадовалась: они оба тоже на снимках! Оба — это Вова Соловьев и Женя Спирин. Ей давно хотелось иметь у себя их снимки. Ей нравились и Вова и Женя. И хотя с Женей она даже как-то целовалась (в подъезде в Кривоколенном переулке, как раз напротив дома, в котором Пушкин когда-то читал Веневитинову «Бориса Годунова»), она не знала, кто из ребят ей нравится больше. Просто Женя был смелее. И ей всегда было трудно: если ее сопровождал Вова, как быть с Женей, и как быть с Вовой, когда Женя звал ее по выходным дням в планетарий. Она ходила с Женей в планетарий, наверно сто раз, и страшно скучала там. А Женя был увлечен звездами и разными планетами, занимался в астрономическом кружке, и ей не хотелось его обижать. А с Вовой она просто отдыхала, хотя тот больше молчал. Он ничего не говорил ни про звезды, ни про планеты, а водил ее в зоопарк и в уголок Дурова, и в цирк, и еще в звериную поликлинику где-то у Трубной площади, и молчал, и она знала, что он любит зверей и что она ему нравится. И он ей нравился.

Все это было давно, очень давно, до войны. В тридцать девятом она пошла работать и уже не бывала в клубе Наркомтяжпрома, и редко кого встречала из старых знакомых. Ей тогда как раз исполнилось семнадцать, когда она пошла работать. Вова потерялся совсем. Говорили, что он уехал куда-то с родителями, кажется, на Камчатку или Чукотку.

Раньше они виделись часто и потому не научились переписываться. А потеряв след Вовы, она и о Жене почему-то перестала думать. Оба они были нужны ей, а отдельно...

Нет, это совсем не то, что сейчас. И хотя Слава чем-то похож на Вову, а может и на Женю, все равно не то...

Маросейка — Покровка. Покровка — Маросейка. Ничем не примечательны ее улицы. И до войны, и сейчас, в войну. И наверно, она не думала бы сейчас о них, если бы была там. Как и все, бегала бы на работу в свой райисполком. А по вечерам — на курсы. Как и все, бегала бы отовариваться и стоять в очередях у магазинов. Как и все, дежурила бы по ночам — то на крыше, то у подъезда дома, то на улице, отшучиваясь от проходивших мимо военных. А в перерывах между всем этим добывала бы дрова, а точнее щепки и вообще — любое деревянное или бумажное, чтобы обогреться у железной печурки, опускала бы чахлые маскировочные шторы и молила кого угодно, чтобы при очередном взрыве не вышибло волной перекрещенные бумажными крестами стекла.

Она вспомнила мать. Не вспомнила, а явственно представила ее себе сейчас — закутанную, старую, голодную и одинокую.

И вдруг впервые с удивительной нежностью и глубиной поняла, кажется, что такое — мать. Мать — это боль рождения. Мать — беспокойство и хлопоты до конца дней ее. Мать — неблагодарность: она с первых шагов поучает и наставляет, одергивает и предупреждает, а это никогда никому не нравится ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет. Мать, работающая, как отец, и любящая, как мать. Мать, у которой на руках

ее дети, ее семья и вся страна. Ибо нет без нее ни того, ни другого, ни третьего.

А она так и не написала матери, хотя прошло уже несколько дней. В Москве — на формировании. И в дороге. И вот теперь здесь.

Она напишет ей: «Мамочка, милая моя мамочка! Все очень хорошо, и я очень люблю тебя. Не беспокойся. У нас все тихо и спокойно. Я в полной безопасности. Война скоро окончится, и мы опять всегда-всегда будем вместе. У меня тут много хороших друзей. Они заботятся обо мне. По ночам я сплю. Не мерзну. Ем нормально... Береги себя!..»

4

С младшим лейтенантом она познакомилась в дороге. Он сопровождал их, восемь девушек, почти от самой Москвы. Чахлая трехтонка везла их, полужамерзших и наивно-восторженных, добрых пять часов, и с каждым часом, а вернее, с каждым нелегким километром, они все более скисали. Наверно потому, что было холодно, и ноги затекали в переполненном кузове, и шофер то вел машину рывками, а то еле-еле тянулся.

Часа через три езды шофер остановил машину в поле, вылез из кабины и позвал младшего лейтенанта. Они о чем-то совещались, и тут младший лейтенант вдруг выдал:

— Ну, как там говорили в детстве: мальчики — нале, девочки — напра! Специальная остановка! Не стесняйтесь.

Ее удивила такая бесцеремонность. Она нарочно, назло, не вышла из кузова. Пусть другие девушки соскочили на землю и пошли куда-то. Она не пошла.

Ей не нравилось все. И то, как младший лейтенант оглядел ее с головы до ног (а она была в коротком полушубке и стеснялась своих, как ей казалось, не очень красивых ног), и то, как он спросил ее, оставшуюся в кузове:

— А ты что? Или не нужно? Откуда такая?

Откуда она? Она не стала ему отвечать. И вообще ничего не стала говорить. Подумала, что шофер куда тактичнее оказался, чем этот...

Всю оставшуюся часть дороги она молчала. Другие девушки говорили, даже, как ей казалось, заигрывали с младшим лейтенантом, а она молчала. И чувствовала, что ему не нравится ее молчание, и он тоже все больше молчит, нехотя отвечая на вопросы и шуточки девушек. И смотрит на нее не то с сожалением, не то с грустью. Такие глаза, она вспомнила почему-то, были у Вовы Соловьева, когда он звал ее куда-нибудь в выходной, она отказывалась и говорила, что никак не может, что, мол, и дома у нее дела, и еще что-то. А он понимал, что просто она с Женей договорилась идти в планетарий и теперь что-то плетет, чтоб не обидеть его.

По дороге шли и шли машины, санные обозы, тракторы с артиллерийскими установками, штабные «эмки» и «фордики», наспех перекрашенные в белый цвет. Колонну обогнали по целине несколько танков, а за ними прошел конный разъезд; заиндевелые потные лошади прядали ушами и фыркали, солдаты в белых маскхалатах подгоняли лошадей, чтобы успеть проскочить вслед за танками. Они торопились туда, вперед, где, наверно, шли бои и где их ждали.

В пустой, как казалось, малоразрушенной деревушке трехтонка свернула с дороги и вдруг резко остановилась в снегу у обломков немецкого «Хе-111».

— Водички надо в радиатор плеснуть, — сказал шофер и ушел с ведром куда-то. Вокруг были лишь землянки с черными и рыжими ржавыми трубами, из которых не шел дым, и еще развалины с целыми и полуразбитыми печками, и совсем не было людей. Просто снег завалил все, и с дороги казалось, что деревня цела. И она подумала, что деревня почти не разрушена. Просто снег...

— Зовут-то как? — спросил младший лейтенант. Она, настроенная еще против него, удивилась:

— Кого?

— Тебя, а кого же? — переспросил он.

Кажется, она совсем растерялась. Буркнула:

— Варя, а что?

— Варя? — Он словно обрадовался, не заметив ее тона. — Хорошее имя — Варя. Редкое! — Потом добавил, улыбнувшись. — А тут речка Воря есть. Поблизости...

Потом сказал, глядя на Варю:

— Ты закутайся лучше. Холодно! Простудишься!

И ей стало стыдно за свои ненужные обиды. И еще она подумала, что младший лейтенант совсем не такой, каким показался ей вначале.

5

По дороге шла группа пленных немцев. Снег крупными хлопьями метался в воздухе и застилал глаза. Девушки в кузове и младший лейтенант совсем окоченели, а когда останавливались, становилось еще холоднее. Их машина, как и многие другие — впереди и позади, — пропускала колонну пленных. Длинную, безлико стертую в этих бесконечных снегах колонну. Мела поземка, и завывал ветер в радиаторах стоявших

машин, и гнулись под ветром одинокие чахлые кустики и деревца вдоль дороги, и еще больше гнулись пленные.

Их было много — несколько сот, ходко шедших по обочине, неловко проваливавшихся в снег, прикрывавших лица и уши. Ветер вздымал полы шинелей, бил в лицо и в уши под холодными касками и летними пилотками, забирался в рукава. Перчаток не было почти ни у кого из них, а о варежках и говорить смешно. Если уж на голове каска или пилотка, какие тут варежки! Было что-то жалкое и несчастное в этих, в общем-то немолодых, обросших щетиной, людях, и даже какое-то чувство жалости к ним: мол, нам каково, а им, не привыкшим к нашей зиме, так легко одетым?

Снег и метель бесновались вокруг. Заметали поля, остатки разбитой немецкой техники, непохороненные трупы, могилы с немецкими касками, и все, что стояло и двигалось сейчас по дороге: машины, бронетранспортеры, артиллерийские установки, сани, лошадей и людей. И эту колонну пленных, которая шла и шла мимо искореженных орудий и машин.

Варя — от холода ли, от любопытства ли — перекинулась через борт машины и сквозь метущийся снег взглянула на пленных. Лиц почти не видно — только снег. Головы, фигуры и снег.

Вскоре после встречи с пленными немцами они остановились в рабочем поселке. Остановились прочно. Шофер явно надул, когда сказал, что ехать им еще часик с гаком. Ехали добрых три часа. В поселке находился штаб полка, где она должна была получить назначение. Но в этот день почему-то вышло так, что всех девушек, ее попутчиц, распределили, а ее нет.

Она робко доказывала:

— Посмотрите мои документы... У меня же две специальности...

Младший лейтенант ходил с ней вместе, с кем-то говорил, с кем-то спорил, на кого-то даже прикрикнул, но толку не было.

Кто-то сказал:

— Слушай, чего ты голову морочишь! Нет же никого! Все начальство на передовой.

Еще кто-то:

— Нам бы красноармейцев подбросить, а ты! Кстати, не слышал, там еще сибиряки или уральцы не подтягиваются?

И еще:

— Силы, понимаешь, живой силы у нас, браток, не хватает! И противотанковых средств. Ты слышал, что немцы на дороге Москва — Брест контратакуют?

Она чуть не обиделась.

— Вы знаете, — сказала она младшему лейтенанту, — у меня такое впечатление, что я здесь никому не нужна. Почему же тех девушек распределили, а меня?.. Я тоже хочу туда...

— Все это чепуха! — сказал младший лейтенант. — Люди на передовой. У тех девушек проще: они — военфельдшеры. Естественно, их сразу в дело бросили. А у тебя... И связь, и медицина... Право, тебе надо остаться здесь. Тут все же безопаснее.

— Я не хочу здесь, — упрямо твердила она.

— Ну, ладно, ладно, — успокоил ее младший лейтенант, — утро вечера мудренее. А сейчас погуляй. Часа через два устрою тебя на ночлег.

Она ходила тогда по поселку. Хотя здесь и располагался штаб полка, военных в поселке почти не видно. Разбитый, какой-то заброшенный и молчаливый, он был почти пуст. Или это потому, что всюду так

много снега? Домов сохранилось лишь несколько, и те не полностью. Во многих полуразрушенных—лишь бы под крышей!—что-то жило. Тянуло из забитых досками или просто заткнутых тряпьем окон запахами махорки и пищи. Она читала немецкие объявления, которые так врезались ей в память, и видела братскую могилу наших, которую не успели зарыть землей, но которую уже покрывал снег. Туда еще подносили убитых. Две могилы — поименованных — находились на главной улице. Холмики и пирамидки с неаккуратно вырезанными из консервных банок звездочками. И надписи чернильным карандашом — размазанные и уже почти стершиеся: «Интендант 3 ранга Хорошев В. И. 1902—1942», «Военинженер 2 ранга Мотовилов С. А. 1914—1942». В поле за разбитым скотным двором находилось немецкое кладбище. Там в ряд стояли березовые кресты и на них каски. Снег заметал и это кладбище: на касках огромные снежные шапки, кресты видны еле-еле.

К вечеру снег прекратился. Прояснилось небо. Оно бледно звездило сквозь белесую дымку, когда не работали наши зенитчики и прожектористы. Немецкие самолеты пролетали за вечер трижды мелкими партиями, их отгоняли. Один сбили, и он полетел с воем, дымя и вихляясь, куда-то к дальним лесам.

Часам к девяти появился даже месяц, месяц не месяц, луна не луна — светящийся в тусклом небе полуобрубок. Он был так неярок и неясен, что напоминал лампочку, зажженную в небе, чахлую лампочку в пятнадцать свечей. Но снег под этим месяцем-луной вдруг заблестел, и заискрился, и заиграл тенями и желто-голубыми оттенками. И не только на улицах поселка, а и на крышах изб и домов, на разрушенных и целых, на покосившихся и развороченных. И солома взъеро-

шенных крыш, и листы вздернутого к небу железа, и трубы, и поднятые ввысь стропила и бревна — все заиграло в свете этого холодного и неяркого месяца-лунны. Даже поваленные наземь столбы, перекрученные морозом и взрывами провода и похожие на диковинных куropаток белые изоляторы светились.

Тошая, с облезлыми кострецами кошка вышла откуда-то из-под развалин. Постояла на лунной дорожке и деловито направилась влево. Вид у нее был полудикий и, если бы не знать, что она кошка, ее можно было бы испугаться. Блеснули зеленые глаза, вздрогнули усы, по-звериному оскалился рот. И походка... Походка решительная, как в минуту отчаянного шага, принятого наперекор всему — и здравому смыслу, и своей собственной судьбе.

Справа за поселком началась перестрелка. Сначала ружейная и автоматная, а затем и артиллерийская. После мелкой дробы, гулко раздававшейся в зимнем морозном воздухе, заухали разрывы снарядов. Взметнулось пламя, и задрожало небо. Взвизгивали снаряды, казалось, вот-вот они накроют поселок, но удары приходились где-то далеко, и только земля тяжело вздрагивала от них, и взметались в небо огненные всполохи.

Потом все стало стихать.

Младший лейтенант определил ее на ночлег где-то уже очень поздно:

— Не сердись, замотался совсем! Верно, промерзла? Но сначала — ешь!

— Только ведь я правда не хочу в штабе оставаться, — сказала она ему. — Я хочу туда, в батальон, где все... Учите!

— Учту, учту, — пообещал младший лейтенант. В тесной прокуренной и продымленной комнатухе

штаба, забитой командирами и солдатами, они ели из котелков гороховый концентрат, потом пили из этих же котелков мутный, но горячий чай. Чтобы согреться!

В просторной избе, стоявшей наискосок от штаба, край которой был разбит немецким снарядом, ее встретили запахи несвежего сена, овчины и каких-то лекарств.

— Да, — сказал он, — я вот листовку прихватил. Наши в полку отпечатали. Посмотри...

Он протянул ей листок, отпечатанный на оберточной бумаге. Она читала:

«Смерть немецко-фашистским оккупантам! Прочти и передай товарищу! В селе Елисеевка бойцы нашего полка нашли мальчика, у которого фашисты вырезали на лбу и на животе пятиконечные звезды. Как удалось установить, мальчик — житель Елисеевки, 6 лет, сказал немецкому офицеру: «Зачем вы сюда пришли? Без вас было хорошо, а стало плохо». Родители мальчика — партизаны. Их расстреляли немцы. Мальчик назвал себя Владимиром Викторовичем Осетровым. Он отправлен в госпиталь. Товарищи красноармейцы, командиры! Вперед, на врага! Отомстим фашистским извергам за их преступления! Отомстим за Владимира Викторовича Осетрова, шести лет отроду, жителя деревни Елисеевки!»

— Страшно, — сказала она.

— Конечно, страшно!

Они помолчали.

— Тут тебе будет удобно? — спросил младший лейтенант. — Не боишься?

— Нет, не боюсь, идите! Спасибо! — сказала она, с трудом пробираясь по темной комнате.

— А не холодно? — еще спросил он.

В избе было явно не жарко, но в полушубке и сапогах, если не раздеваться, не замерзнешь.

— Нет, что вы! — уверенно возразила она. Тогда она говорила с ним еще на «вы», хотя он давно уже обращался к ней на «ты», и это ничуть не обижало ее. Он был старше, и, кажется, намного. По крайней мере ему лет двадцать пять — двадцать шесть, а ей всего лишь — двадцать. Разница огромная!

Ей, действительно, не было ни страшно, ни холодно, когда она легла на пол, подобрав под себя слева и справа, спереди и сзади охапки мягого сена.

Кажется, уснула. Снилось сумбурное. Москва довоенных лет. Младший лейтенант, сидящий в зале клуба Наркомтяжпрома, и шофер их трехтонки, отплясывающий «Лезгинку». Отец и мать, мирные, довоенные, пьющие чай, а потом почему-то немцы — пленные немцы, бредущие по весенней дороге среди цветущих садов. Не те ли это немцы, что были перед войной в клубе Наркомтяжпрома? Они поют песню, знакомую, суровую песню прошлого года:

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою!
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим,
Уничтожим врага!..

Немцы не успели допеть, как вспыхнули ракеты, и радио знакомым голосом произнесло: «От Советского Информбюро. В последний час. Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Сегодня война окончилась нашей победой. Сам Гитлер со своими сообщниками

лично прибыл в Москву, посетил Кремль и доложил товарищу Сталину о полном поражении своей армии и безоговорочной капитуляции...»

— Что за бред! — Она вскочила, ничего не понимая. За окнами глухо гремела артиллерийская канонада. Голова болела, и почему-то подташнивало. Она чиркнула спичкой и сразу же поняла, почему в избе так пахло лекарством. На сене валялись окровавленные чернобурые бинты, вата, какая-то обертка и банки. Видимо, здесь лежали раненые.

Она встала. Спать больше не хотелось. Вспомнила о младшем лейтенанте — о единственном своем более или менее знакомом здесь человеке. Вышла на крыльцо. Артиллерия била и слева и справа. «Какая — наша или немецкая? Наверно, и та и другая». Вспыхивало небо. Зарницами, ракетами, трассирующими очередями, лучами прожекторов.

— Ты что? Испугалась?

Оказывается, младший лейтенант стоял рядом.

— А вы? — Она удивилась и обрадовалась одновременно.

— Опять на «вы»! — сказал он. — Не спится...

Теперь, ночью, он показался ей коренастым и не таким суровым, а мягким, чуть задумчивым. Он был в шинели, довольно длинной, и в серых валенках. На ушанке оттопыривалось одно ухо. Она даже усмехнулась про себя, а он, будто поняв ее, снял ушанку и завязал тесемки.

— Лучше бы опустили, — сказала она, — холодно!

Они бродили по улицам поселка, поворачивали назад у разбитого колодца, вновь — мимо ее избы, потом чуть дальше, до штаба, где стоял часовой, и обратно — мимо избы и до колодца. Раздавались удары артиллерийских батарей, шумел лес, вспыхивало не-

бо. И все же было тихо, очень тихо сейчас в этом поселке. Снег хрустел под ногами, как вафли. Шуршали дубовые листья, взметаемые порывами ветра. Одиноко и блекло мерцали в сохранившихся домах огоньки коптилок.

Шагали молча.

— А вы, — наконец спросила она, — давно здесь?

— Где?

— Ну, на войне, — пояснила она.

— С начала. Добромиль, слышала такое место?

— Нет! Хорошее слово — Добромиль! Уютное какое-то, ласковое!

— Там было не так уж уютно, — сказал он. — Это почти на самой границе. Перемышль, Самбор, Дрогобыч — слышала?

— Кажется, да.

— В тех, в общем, краях, — не вдаваясь в подробности, сказал он. — И все же тебе лучше остаться здесь, в штабе, — добавил он. — Тут тише.

— Не хочу, — упрямо повторила она.

И опять они шли по улице поселка. Туда — обратно. Обратно — туда. Мимо штаба, мимо ее избы, мимо могил наших командиров. Затихло небо, и вновь на нем неясно проглядывались звезды и мутные очертания месяца-луны. Замолкла артиллерийская канонада.

— Не замерзла?

— Нет.

— Может, спать хочешь?

— Нет, походим еще чуть-чуть.

Они ходили. Хрустел снег. Неровные, успокоившиеся, лежали на нем загадочные тени. Неровные, как облака, загадочные, как одинокие деревья и развалины.

— А до войны? — спросила она. — До войны, где вы жили?

— В Москве, в Бабушкином переулке. Есть такой. Слышала?

Еще бы не слышала! Так, значит, по Москве они почти соседи?

Земляной вал. Разгуляй. Между ними как раз — Бабушкин переулок. Рядом какой-то институт, кажется, химический. А чуть раньше, ближе к Земляному валу, — сад имени Баумана. Она ходила туда несколько раз на танцы и один раз смотрела кино на открытом воздухе — «Остров сокровищ».

И Земляной вал и Разгуляй — продолжение улиц ее детства, Маросейки и Покровки.

Там, недалеко от Бабушкина переулка, она получала в райкоме комсомольский билет.

В райкоме комсомола ее спросили совсем не про то, что она ожидала. Она зубрила устав, перечитывала в газетах обо всех важных событиях за рубежом, вспоминала деятелей Коминтерна и руководителей зарубежных компартий.

— А вот, если б нужно было на войну с белофиннами, ты сейчас пошла бы? Готова? На лыжах умеешь?

— На лыжах умею, — сказала она, хотя и засомневалась. — Что значит, умею? Кататься умею, а если там в поход идти или в бой...

— Так насчет войны с белофиннами как? — переспросили ее. — Ведь ты, кажется, значкист ГТО?

— Да, второй ступени.

— А общественные нагрузки есть?

— Я член месткома, член редколлегии стенной газеты.

— Ну ладно! — сказали ей. — А что ты думаешь о германском фашизме?

— У нас же с ними договоренность есть не нападать, — бодро сказала она. Уж что-что, а это она знала.

— Нет, не об этом речь, а о существе. Твое отношение к германскому фашизму?

— Мое? Мое отношение? — Чуть поколебавшись, ответила: — Плохое. Очень плохое...

Сейчас ей смешно все это вспоминать. Она пришла сюда, на фронт, сама, никто ее не звал и не просил, наоборот, ее отговаривали, но она пришла. Тогда же...

В тридцать седьмом году она была с отцом в клубе Кухмистерова — это тоже недалеко от Бабушкина переулкa, только с другой стороны. Она на всю жизнь запомнила этот вечер — предвыборное собрание избирателей их района. Готовились первые выборы в Верховный Совет. Сама она, конечно, не выбирала, но разве в этом дело. Все девчонки и мальчишки считали, что выборы — их дело. «Наш избирательный округ», — говорили они, — «наш кандидат», «наш избирательный участок». Вся школа завидовала ей, что она была в клубе Кухмистерова, слушала выступление их кандидатов. Учителя ей завидовали, а не только ребята.

Мне сейчас
Одиннадцать лет,
Я очень жалею,
Что не могу выбирать
В Верховный Совет, —

после выступлений кандидатов какая-то маленькая девчушка читала со сцены эти свои стихи о выборах, а потом был концерт, какого она еще никогда не

слышала: Лемешев, Алексеев, Качалов, Барсова и Катульская, Рейзен и Смирнов-Сокольский.

Как давно это было! Очень давно! И все-таки кажется, что Бабушкин переулок — это где-то совсем рядом.

Или потому так кажется, что младший лейтенант сейчас стоит рядом? И он напомнил ей...

Она постояла еще с младшим лейтенантом на крыльце, потом сказала:

— Я пойду.

— Спать хочешь? — спросил он.

— Нет.

— Не надо уходить! — попросил он. — Еще минуточку, ладно?

Стало холодно. Подул ветерок, затем ветер, завывая в трубах и развалинах, зашумел сухими листьями дубов. Вдалеке по-шакальи завывали собаки.

Он неловко обхватил ее, прижал к себе. Она почему-то не отстранилась, а он шептал ей: «Не бойся» и прижимался мягкими мальчишескими губами к ее лицу.

Ей было и неловко и хорошо, но она ничего не понимала в эту минуту и не знала, что делать, что говорить.

А он целовал ее еще и еще, и вдруг она вспыхнула, оттолкнула его от себя.

— Это же нехорошо, нехорошо! Я не знаю даже, как зовут вас, а вы!..

Он тоже, кажется, смутился и робко, совсем по-детски признался:

— Меня Славой зовут. Вячеславом, значит. Разве я тебе не сказал?

Она уже захлопнула дверь, когда услышала его обиженное:

— Зачем ты так? Я же...

Уснуť она не могла. Присела на мягое сено и так просидела почти до утра.

А когда утром вышла на крыльцо, поняла, что, видимо, все же спала. На снегу виднелись свежие воронки. Оказалось, под утро был артоналет на поселок. И есть даже жертвы. А она так ничего и не слышала.

— Черт-те кто разберет эту обстановку! — Слава встретил ее первым. — Но ведь сейчас же не сорок первый! А толку никакого. Ох, уж эти фрицы!

Слава, видимо, что-то знал о ней, об этой обстановке. Варя вовсе не знала. О ней, видно, знало высокое начальство. И Слава знал. А Варя не знала...

А обстановка на фронте и верно была не такая уж простая.

На первый взгляд, в этой обстановке ничего не было значительного. Сводки Совинформбюро ежедневно сообщали: «Наши войска продолжали вести активные боевые действия. ...Наши войска, преодолевая узлы сопротивления противника, продвинулись вперед и на нескольких участках фронта заняли населенные пункты...»

После памятного декабрьского контрнаступления Западного, Калининского и Брянского фронтов, когда немцы были отброшены от Москвы, когда были освобождены Калинин и Калуга, спасена от окружения Тула и пройдены одиннадцать тысяч отбитых у врага населенных пунктов, хотелось, конечно же хотелось, чтоб так все шло и дальше. Дух победы заразителен, и казалось глупым, почему это немцы до сих пор сопротивляются и даже лезут в контратаки и прочно цепляются за каждый клочок не своей, чужой земли.

...Еще двадцать восьмого декабря 1-й гвардейский кавалерийский корпус после своего беспримерного

рейда через Оку, взятия Тихвина и Белева должен был освободить Юхнов. Не получилось...

Еще в начале января войска 50-й армии вели активное наступление на своем левом фланге, которое было направлено на Юхнов, но немцы перебросили сюда целую танковую дивизию, и наступление захлебнулось на восточных окраинах города. Юхнов остался у немцев.

Еще в первых числах февраля нашим армиям был дан приказ окончательно разгромить войска противника в районе Юхнова. Но наступление не состоялось. Немцы же, наоборот, провели несколько активных контрударов по 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу и 33-й армии, сражавшимся в районе Вязьмы, и перерезали их коммуникации южнее и севернее Юхнова.

Еще в конце февраля 50-я армия с фронта и 4-й воздушнодесантный корпус с тыла пытались прорвать немецкую оборону у Юхнова и соединиться с отрезанными нашими частями, действовавшими южнее и восточнее Вязьмы. Немцы только что получили значительные подкрепления — танки, самолеты, противотанковые средства, артиллерию, людей. Прибыли саперные части. За несколько ночей они перекопали берега Угры и других малых речек и оврагов. Появилась сеть дзотов. В заснеженную землю вросли блиндажи. Поля возле шоссе Москва — Брест или, как его все называли, Варшавского шоссе, ошетинились проволочными заграждениями. Леса и дороги вобрали в себя тысячи мин. Эсэсовцы, занимавшиеся прежде службой по розыску партизан, были собраны из всех прифронтовых деревень и даже из глубокого тыла вместе: из них сформировали полки. Они заняли оборону. Они держались за город Юхнов...

Небо серело. Медленно, сначала еле заметно. Белесые полосы растягивались, превращаясь в белесую дымку. Потом дымка стала чернеть. И сразу исчезло солнце и перестал блестеть снег. Смолкли птицы, и потускнели стволы берез. Ветерок, сначала тихий, еле заметный, принес холод и запах гари. Потом закачались деревья, ветер дул уже порывисто, резко, со свистом и завыванием, будто глубокой осенью.

— Ты как?

Слава спрашивал ее уже в десятый раз — не меньше! — об одном и том же.

— Ничего, — она чуть кивала головой.

А он в эти минуты стирал пот со лба и подправлял выбившиеся из-под шапки мокрые светлые волосы, и вновь прижимался к автомату, бросая на ходу:

— Говорил же тебе! Вот уж дурочка, так действительно дурочка!

Она не обижалась.

Утром сегодня она получила назначение. Хмурый, с красными от недосыпания глазами, комиссар полка тоже предложил ей остаться в штабе.

— Нам нужны санинструкторы, — сказал он. — И связисты нужны, хотя связь у нас полковая. В общем люди нужны. В дело! Понимаете, люди! А не девочки!

— Я не девочка, — сказала она.

Он, кажется, усмехнулся:

— Вижу...

Она опять спросила:

— А в батальон никак нельзя? Я бы хотела в батальон...

Комиссар посмотрел устало на нее, потом на младшего лейтенанта:

— Если романтика нужна, то тогда в третьем батальоне. У вас ведь хватит, младший лейтенант, романтики!

— Так точно, товарищ старший политрук! — отпартовал тогда Слава.

До третьего батальона они так пока и не добрались. Засели у этого оврага в окопе — немцы рвались со стороны Варшавского шоссе. А наших было всего девять человек. Пулемет, правда, ручной, четыре автомата, винтовка, карабин и два пистолета. Судьба свела в этот окоп разных людей — двух красноармейцев из разбитого на шоссе обоза, интенданта, возвращающегося из штаба батальона, трех саперов, связиста и их со Славой. Интендант, как старший по званию, взял командование на себя, правда, не без помощи Славы:

— Может, лучше вы, младший лейтенант? А то, знаете, я ведь только один раз был в бою, когда Ельню брали.

Слава, конечно, не согласился. И верно: старший должен быть старшим. Интендант покорно поддакнул, интеллигентно извиняясь:

— Тогда уж вы, товарищи, мне помогите, если что не так! Хорошо?

И вот они сдерживают сейчас немцев. Уже четыре атаки отбито, а немцы так и не миновали овраг. И у них — потери, а наши — все девять целы пока.

— Ты как? Ну как? — опять спрашивал Слава.

В середине дня пошел снег. К этому времени как раз захлебнулась очередная немецкая атака. Еще пять трупов врага скатилось под откос. Сколько их там осталось — немцев (Слава определил, что немцы ата-

куют силой до роты), неизвестно. Снег неестественно, театрально падал на деревья и землю, на бруствер их окопа и на дно оврага.

Немцы утихомирились.

На какой-то миг мелькнула мысль: а не глупо ли сидеть вот так в окопе, под снегом, когда все тихо вокруг, и никаких немцев уже, видимо, нет, а их давно ждут в штабе батальона, потому что еще утром комиссар полка сказал: «Я поставлю в известность командира третьего...» Но она не решилась спросить об этом Славу.

Спросила о другом, вспомнив о его дне рождения:

— А сколько тебе сегодня?

— Что? — не понял он, но увидел под стволом автомата подаренную ею веточку сосны и сообразил: — Лет? Двадцать три стукнуло. — И спросил: — Много?

— Мало, я думала, больше, — призналась она. — А ты, правда, на меня не сердишься, ни чуточки? Я действительно, наверно, дурочка?

— То, что в штабе полка не осталась, да? — сказал он. — А может, и хорошо. По крайней мере для меня...

Она не успела спросить, почему. Через их головы с шипением и визгом полетели снаряды. Они ударили в противоположный берег оврага, где только что были немцы. Комья земли взлетали в воздух и сыпались на дно оврага. Снег почернел. Местами образовались черные провалы, и в них с журчанием бежал ручеек. Вздрагивали со звоном стволы сосен. Летели щепы и хвоя.

Через час они уже выбрались на противоположную сторону оврага, миновали разбитые немецкие позиции и двинулись к Варшавскому шоссе. Чем ближе под-



ходили к дороге, тем явственнее слышали: там идет бой.

— Это, кажется, наши, — сказал Слава, когда они услышали артиллерийские разрывы. — Определенно наши, — подтвердил он, когда сквозь гул артиллерийской перестрелки стали прорываться и автоматные очереди.

А когда среди шума близкого боя они услышали лязг гусениц, сказал:

— Танки! Что-то не то!

Он ускорил шаг, и она с трудом поспевала за ним.

— Осторожнее, Варюша, — говорил он. И опять: — Осторожнее!

Снег в лесу лежал глубокий, обветренный, с тонкой обманчивой корочкой. Ноги предательски проваливались. Ветки кустарников и суховатых елей били по лицу. Она уронила шапку раз и два, а он, как назло, оглянулся и — ей показалось — посмотрел на нее с недовольством.

— Я иду, — поспешила сказать она.

— Нет, ты понимаешь, — Слава даже вернулся и, казалось, не расслышал ее слов, — когда я уезжал, ну, за вами, наш батальон прочно контролировал дорогу. А сейчас... Не знаю!..

Слава действительно многого не знал. Не знал, что его третий батальон, прочно удерживавший свои позиции больше недели, два дня назад был атакован немцами и выдержал трудный бой с танковой частью, перерезавшей Варшавское шоссе. Не знал, что в этом бою были уничтожены почти все немецкие танки, но и батальон понес потери — половину своего состава. Не знал, что, несмотря на потери, батальон пошел час назад в наступление, смял боевое охранение немцев и

завязал бой на северной и северо-восточной окраинах деревни. Не знал...

Попав на окраину деревни, они тоже вступили в бой. И младший лейтенант, и она, рядовая Варя, и все другие, начиная от командира батальона и кончая поварами, были в этом бою пехотой.

Немцы подготовили деревню для упорной обороны. Наши прошли противотанковые рвы, ибо батальону не придавались танки. Прошли, как проходит пехота. Немцы били по ним из противотанковых орудий, но пехота — не танки, и наши подавляли их. Немцы заминировали подходы к деревне противотанковыми минами, но для пехоты это не помеха, и наши прошли через заминированные участки.

К ночи деревня была взята. В ней ничего не горело. Гореть было нечему — дома разрушены и спалены еще в прошлом году, а кроме траншей, дзотов, дотов и блиндажей в три-четыре наката, немцы ничего не строили.

Остатки батальона разместились в немецких блиндажах. Измотанным за эти дни людям дали отдых. Варя готовилась принимать раненых, но начальство решило иначе.

— «Небо»! «Небо»! Я — «Береза»! Я — «Береза»! Слушаю! Передаю трубку Третьему...

— Бойко работаешь! — говорил ей напарник, полковой связист, будто издеваясь.

— Как могу, а что?

Ей было некогда и все же она все время почему-то вспоминала Славу. И даже когда кричала в трубку: «Небо»! «Небо»! Я—«Береза»!», думала о нем. И ей казалось, что она кричит: «Слава! Слава! Я — Варя! Ты слышишь меня?»

Ей хотелось, чтобы было так.

Солнце, солнце, солнце. Очень много солнца. В сквере у Ильинских ворот блестит на солнце памятник героям Плевны, и блестят огромные валуны и восковые листочки на тополях. Ребята с шарами — красными, синими, зелеными, желтыми — играют возле памятника, и шары их блестят на солнце, и глаза. Солнце отражается в стеклах домов, незашторенных, открытых, в витринах магазинов, в окнах трамваев и троллейбусов.

Они идут со Славой по Маросейке. Слава не в шинели и не в гимнастерке даже, а в сером костюме. Ей нравится этот цвет — скромный и красивый.

«Слава, почему так много людей?» — спрашивает она.

Люди, люди, люди. На тротуарах, на перекрестках, в окнах трамваев и домов. Очень много людей.

Он молчит, и она продолжает:

«А там, помнишь, перед Юхновом, когда деревню брали, нас было очень мало!»

«Так там, Варюша, фронт большой был, — вдруг оживляется Слава. — А тут что — одна улица!»

Кончается Маросейка, начинается Покровка.

«Мы куда пойдем — ко мне или к тебе, на Бабушкин?» — спрашивает она.

Ей уже слышится, как на Елоховском соборе гремят колокола — красиво, величественно, кажется, на весь мир, и сразу же на всех домах взметнулись флаги — красные флаги с золотыми, как буквы на памятнике героям Плевны, наконечниками. Флаги трепещут в весеннем воздухе, а золотые наконечники горят на солн-

це. Не поймешь, где солнце, где золотые наконечники, где золотое солнце.

«Это что? Победа?»

«Конечно, победа, Варюша! — говорит Слава. — А пойдем мы не к тебе и не ко мне, а к нам!»

«Как это «к нам»?»

«А дом нам с тобой отгрохали — это чепуха? Отличный дом рядом с кинотеатром имени Третьего Интернационала. Третий подъезд, четвертый этаж. Разве забыла?»

Они идут дальше. В скверике у памятника Бауману опять много солнца и детей. Но скверик маленький, и детям не хватает места. На тротуарах возле Новорязанской — дети. И чуть дальше, около их дома, тоже дети. Асфальт разделен мелом на квадраты и квадратики. Это древние «классики»! Вот бы и им со Славой сейчас попрыгать по этим квадратам. Ведь прыгали же, и совсем недавно! Но сейчас им нельзя. Они — взрослые, и у них свой дом. Третий подъезд, четвертый этаж. Квартира номер...

«Слава, какая квартира?»

«Вот эта, Варюша, эта!»

Первое, что ее поражает в квартире, — окна.

«Такие огромные! — говорит она. Потом добавляет: — Иди отдохни, а я обед приготовлю...»

Смешно и обидно, но до войны она не научилась готовить. Как-то так всегда получалось, что все было готово — была мама. Сейчас она ругала себя: не девочка, взрослая, войну прошла, а что же делать с этим обедом? Если суп варить, то как, и, наверно, это не скоро.

Слава заходит на кухню, обнимает ее:

«Ну, что ты здесь колдуешь?»

Она не знает, что ответить.

Он бежит куда-то. Она даже опомниться не успевает, как через десять минут он прибегает с полным вещмешком:

«Хватай!»

Она вынимает из вещмешка продукты.

«А это зачем?» — она удивляется, увидев две игрушки — гуттаперчевую куклу в голубом платье и заводную машину.

«Как зачем? У нас же дети будут!»

Да, у них будут дети. И много-много детей, как там, в сквере у Ильинских ворот. Мальчики и девочки. Девочки и мальчики. Нет, пожалуй, сначала лучше мальчики. Для Славы! Ведь мужчины, говорят, любят сыновей.

«А вот еще, — говорит Слава, доставая что-то из кармана, — билеты на поезд. Мы же поедем с тобой на речку Ворю».

Она накрывает на стол и спрашивает:

«Правда, что сейчас не война?»

«Правда, Варюша, правда!»

За окном сверкают огни витрин и фонарей, окон и трамваев. По крыше соседнего дома бегут могучие неоновые буквы: «Храните деньги в сберегательной кассе». И гремят, как и днем, колокола Елоховского собора.

Стол убран. До чего же она устала за сегодняшний день.

Слава помогает ей: «Спать, спать! Немедленно — спать! А то впереди...»

И он хохочет:

«Что это я? Впереди ничего, кроме счастья! Ведь войны уже нет!»

Она разбирает постель.

«Ложись», — говорит он.

Она раздевается, чего никогда не было там, на войне.

«Спи», — говорит он.

«А ты? Ты меня боишься?» — неловко спрашивает она.

«Я? — Он молчит. Долго, долго молчит. Потом говорит: — Я обидеть тебя боюсь, Варюша. Как тогда...»

И ей хорошо теперь. Очень хорошо. Она знает, ох, как знает сейчас, что любит его. Любит!

Так могло быть...

11

Наступление на Юхнов началось к вечеру. Били гаубицы и дальнобойная артиллерия. Батальон вступил в бой вместе с артиллеристами. Сорокапятчики шли в боевых порядках пехоты, с ходу уничтожая огневые точки противника. Немцы бросали в бой отряды автоматчиков, местную охрану, хозяйственные и похоронные команды.

Почти до утра шел бой в поле, потом батальон продвинулся вперед, на окраину города. Другие части обходили город с трех сторон.

Славу она увидела невзначай. А он:

— Варюша! Я всюду ищу тебя. Ты как?

— Ничего. А ты?

— Как видишь... Я к комбату бегу. Связь у нас испортилась, потери... Говорили: подкрепление...

— Слава, — сказала она. — Знаешь, Слава? — У нее перехватило дыхание. — Сейчас тяжело, ты сам понимаешь. В общем, я хочу сказать тебе, Слава, что если что случится со мной... Если меня ранят или убьют... Ты не думай, я видела это. Все видела, когда мы раненых выносили... В общем, знай, что я все рав-

но... В общем, люблю тебя, Слава... И ничего, пожалуйста, ничего не говори мне сейчас. Хорошо?..

— Что ты, Варюша! Вот возьмем Юхнов, я тебя на Ворю прокачу. Нам отдых как раз обещали после взятия Юхнова.

На рассвете немцы подтянули резервы.

По цепи наступавших разнеслось:

— Танки! Внимание! Танки!

Она тоже увидела танки. Один... второй... третий... шестой. Шесть черных громадин ползли по белому снегу на их позиции. Славу с его взводом она потеряла: видимо, они залегли.

За танками маячили фигурки. Десятки, нет, пожалуй, сотни фигурок немцев, идущих в атаку.

— Не меньше двух рот, — определил старший политрук, оставшийся с ними после совещания в штабе батальона. — Но... сейчас бог войны сработает!..

И действительно, ударили артиллеристы. И по танкам и по пехоте. Два танка вспыхнули сразу. Другие замедлили ход. Рассыпалась пехота.

— В атаку, за мной! — Комиссар полка первым выкрикнул это и вскочил со снега.

— В атаку! — разнеслось по огромному полю.

— В атаку! — повторяли командиры рот и взводов.

Она на минуту замешкалась и, кажется, услышала его, Славин, голос:

— В атаку!

Она выносила раненых—волокла на плащ-палатке, затем на каких-то примитивных санках, которые нашлись в овраге, а то и на себе. Не всюду с этими сан-

ками подберешься, когда вокруг стреляют, и свистят пули, и рвутся снаряды. Но ты прижмись к снегу и ползи, замри, когда очередной удар снаряда или свист пуль, и опять ползи. Раненые ждут, а санитаров не хватает. Трех убило, еще двоих тяжело ранило, и потому, наверно, командир батальона цыкнул на нее:

— Бросай это дело! Раненых таскай! Женщина, в конце концов, — твое дело! А мы и так справимся...

До этого она шла со всеми вместе в цепи наступающих и стреляла из автомата, доставшегося ей здесь, на войне, немецкого автомата. Он был совсем несложный, и освоить его оказалось проще простого. Винтовка, из которой она стреляла прежде, в дни занятий на курсах Осоавиахима, куда сложнее. Там — один выстрел, и рядом преподаватель, и страх, что ты не попала в бумажную цель. Здесь рядом десятки людей, но им не до тебя, поскольку впереди — противник. И перед тобой впереди противник, и тут уж поступай, как знаешь и можешь, — и если не ты его, так он тебя.

И вот — командир батальона. Ей было обидно сначала, она стреляла не хуже других, и вообще вела себя в бою не хуже других, а тут — нá тебе, раненые! Но стоило ей вытащить первого и увидеть рядом второго, которого она не могла захватить сразу, его глаза, перекошенное болью лицо, она поняла все. И то, что правильно она, связистка, пошла в бой вместе со всеми. Ей приказали, поскольку она была свободна. Пошли даже повара, обозники, штабные писари. И приказ командира батальона правильный: потери велики, раненых надо спасать. И она спасала. Пятых вынесла, потом еще, а потом потеряла счет. Подоспели новые санитары. И еще двое пожилых красноармейцев из хозвзвода. Они носили раненых теперь

вместе. На санках, на плащ-палатках, на себе. И еще на собачьих упряжках. Две такие упряжки появились в середине боя. Это было спасение: они укладывали самых тяжелых на санки, и собаки сами вывозили их.

Но она не об этом вспомнила, когда чуть приутих бой и все раненые были подобраны. А другим, павшим в бою, было уже все равно. Они ждали подхода тех, кто соберет их всех вместе, выроет им могилу и положит туда — человека к человеку, человека на человека, чтобы когда-то через много-много лет мимо памятника, который им поставят, проходили новые люди и думали, вспоминали о них. Им сейчас все равно, они могут ждать. И прав, наверно, хирург, который обружал ее последними словами, когда она на себе, еле дыша, притащила убитого:

— Ты что, милая, рехнулась! Живых мне давай, живых!

Она не могла тогда ответить ему. Обалдела. Это был первый человек, которого она тащила на себе. Это был первый ее раненый. И она подняла его, с трудом взвалила на плечи: он, кажется, дышал, хрипел, о чем-то просил и харкал кровью. Она же не знала, что не дотащит его живым...

Их батальон вступил на юго-западную окраину города. К утру части 49-й и 50-й армий с боями вошли в Юхнов. Вошла даже пекарня. Задымили трубы печей, в воздухе вкусно пахло свежим хлебом, хотя вокруг еще стреляли, все горело, рушились дома.

Варя тянула провод. Штаб батальона занял полуразвалившийся дом, а до штаба полка метров пятьсот-шестьсот, не больше. Она вернулась к своим прямым обязанностям: прибыло медицинское пополнение, и приличное. Там теперь на каждом двух

раненых не меньше трех санитаров будет. Значит, ее дело — связь.

По улице прошли двое — в нашей форме, но она перепугалась: чужая речь. Вздогнула, бросила провод, схватилась за автомат:

— Хальт!

— Стой! Стой! — закричал один из них. — Не надо стрелять! Мы — латыши! Латышской гвардейской дивизии... Слышала? Из-под Наро-Фоминска идем.

Она смутилась, опустила автомат.

— Простите, а я думала...

Она не могла объяснить себе главного. Вот уже больше четырех часов она не видела его — Славу. И ничего не знала о нем и не могла узнать. В городе шли бои, у нее было свое дело и — ни минуты перебива. Поэтому она и вздогнула сейчас, занятая своим делом и своими мыслями.

Рассвет наступал медленно, будто бы нехотя. На деревьях что-то запело, забулькало, затренькало, и она невольно оторвалась от своей катушки, взглянула вверх, заслушалась. Подумала, что это и в самом деле весна. И что с весной всегда приходит к людям хорошее. И что они со Славой, конечно...

— Думаешь, соловьи, сестрица? — Она обернулась, увидела пожилого красноармейца. — Дрозды, миленькая, дрозды! Они и под соловьев могут, и под кого угодно! А соловьям рано, — пояснил он и пошел, гремя двумя котелками, своей дорогой...

О дроздах она слышала что-то. Или читала в школе еще, давно. Невзрачные такие, серые пичуги. Неужели они поют под соловьев? Ведь соловей — это соловей. А тут тебе — дрозд. Впрочем, это не о дроздах ли рассказывали, что они даже говорить умеют, как люди, если их научить? Вообще странные суще-

ства, эти птицы. Почему-то раньше она никогда не думала об этом. А ведь и время было, чтобы все узнать, это же интересно. Знает же красноармеец про дроздов, сразу их голоса определил, а она не знает. Надо узнать, обязательно узнать, как только все закончится... И все же где он, Слава?

После дежурства она пошла по городу, надеясь увидеть его. Их батальону и верно дали отдых. Слава был прав. Может, и правда они съезжают теперь на Ворю? Ведь после Юхнова и война может быстро кончиться. Уж так здесь немцев долбанули, что вряд ли они скоро опомнятся. Ох, если бы все это быстро кончилось!..

Она шла и шла и увидела другое. Колкая проволока. Грязные, темные земляные дыры. Зашла в одну из них с табличкой над входом «№ 6»: трупы наших красноармейцев, истощенных, оборванных.

Возле землянки стояли женщины, вздыхали.

— С октября и держали их тут, — объясняла одна. — Тогда их человек двести было здесь, пленных. После поумирали и новых пригоняли. Еды никакой. И нас, баб, не подпускали, хоть и ходили мы сюда кто с чем. Офицер у них тут был, охранник рыжий. Все с нагайкой в руке ходил. За ложку бурды работать заставлял. А то и так: поработал человек из последних сил, он ему кусок конины ко рту поднесет и тут же обратно отдернет. Дразнил, значит. Раненые сгноились совсем. Вшами изошли. До морозов-то они вовсе под открытым небом держались. Это уж потом, в декабре, что ль, или в январе, когда новую партию пригнали, разрешили им эти траншеи да землянки построить. Сегодня, когда наши-то пришли, пятерых только и увезли отсюда живыми. А сколько их, серых, тут померло да порасстреляно...



Потом она шла дальше. На улицах брошенная немецкая техника. Орудия, машины, ящики со снарядами и продовольствием. Люди, немногие люди идут с ведрами на Угру за водой. Выглянуло солнце, и закали сосульки на уцелевших домах. И даже под ногами снег становился все мягче и мягче.

Сейчас она увидит Славу. Она ясно представила себе, как это будет, как он скажет «Варюша», как обязательно добавит «будь осторожнее», как повезет ее на речку Ворю. Если даже не кончится война так скоро, все равно он повезет ее на Ворю. Ведь им дали отдых. За Юхнов дали! Это должно быть именно сейчас, она встретит Славу на этой улице или на следующей, или на площади, вон за тем поворотом.

Она вспомнила слова песни, которую пропел ей Слава:

Люди едут к синю морю,
Тратят деньги на билет.
А у нас есть речка Воря,
Лучше в мире речки нет!

Голубело, прояснялось небо. Кружили галки над старыми деревьями, с достоинством пели дрозды, чирикали воробьи на подтаявшем снегу и всюду где-то недалеко-неблизко перекликались петухи. Весна!..

13

...Младший лейтенант Солнцев Вячеслав Иванович, год рождения — 1919, погиб при штурме г. Юхнов 5 марта 1942 г.

*Из донесения о боевых безвозвратных
потерях командира 3 батальона...*

В течение 5 марта наши войска вели наступательные бои против немецко-фашистских войск. Противник на отдельных участках фронта пытался контратаками приостановить продвижение наших частей, но, потерпев большой урон в людях и технике, отошел на запад. Наши войска заняли несколько населенных пунктов и в числе их г. Юхнов (Смоленская область). За 4 марта сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах 43 немецких самолета. Наши потери — 13 самолетов. За 5 марта под Москвой сбито 4 немецких самолета...

*Из вечернего сообщения Советского
Информбюро за 5 марта 1942 г.*

Сергей Алексеевич БАРУЗДИН

РЕЧКА ВОРЯ

Повесть

Художник М. БУТКИН

Главный редактор Ф. Царев
Литературный редактор Н. Рачкова
Художественный редактор Ю. Королев
Технический редактор Ю. Гончаренко
Корректор Е. Абросова

Адрес редакции: Москва, Д-7, Хорошевское шоссе, 38—40
Г-42502. Сдано в набор 4.VIII.67 г. Подп. к печ. 25.VIII.67 г. В печ. л. 55 000 тип. зн
Бумага 70×108¹/₃₂ — 1,5 печ. л. = 2,08 усл. печ. л. Цена 5 коп.
Изд. № П/9374 Зак. 924.

1-я типография
Военного издательства Министерства обороны СССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3



Цена 5 коп.

72934